

Они сидели в почти пустой квартире — главные вещи уже уехали на таможню — и пили чай. И она рассказывала, рассказывала...
— Ты действительно не считаешь меня сумасшедшей от того, что я так верую в мою победу над Сталиным?
— Напротив, надо быть сумасшедшей, чтобы НЕ верить в это!

Марк Львовский

ЭСФИРЬ ЛЬВОВНА

Рассказ

1.



Эту фантастическую историю об «убийстве» Сталина Семён слышал непосредственно от «убийцы», так что, никаких оснований для сомнений в правдивости услышанного у него не было. У Сёмы вообще был счастливый характер — он верил почти всему, что ему рассказывали. Именно поэтому с лица его не исчезало выражение изумления.

Но всё по порядку...

...Утро 13 января 1953 года было солнечным и морозным. Дядя Коля, родной брат Сёминой мамы, у которого они тогда жили, весело мурлыча себе под нос, пошел за газетой, вытащил её из почтового ящика и вдруг затих, да так страшно, что мама с криком «Коля, что случилось?» выскочила в коридор и тоже затихла... А Сёма подумал, что пришла телеграмма о чудесном возвращении погибшего в войну отца. Он часто фантазировал на эту тему. Оказывалось, что отец вернулся со специального задания. Во всех видениях отец был без определенного лица, ибо Сёма не помнил его, погиб он в сорок первом, когда Сёме было только два года.

И он тоже бросился в коридор и увидел бледных, испуганных, маленьких маму и дядю Колю, впившихся глазами в газету «Правда».

— Я не пущу его в школу! — в тоске прошептала мама.

— Этим ты сделаешь ему только хуже.

— Его избыют!

Они увидели Сёму, хотели отвести газету в сторону, но он успел вцепиться в нее и прочел: «Арест группы врачей-вредителей. Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности...» Дядя Коля неожиданно отпустил газету, и перед Сёмой замелькали еврейские фамилии... одна за другой... одна за другой...

Ему было тогда 14 лет. Хороший советский мальчик. Писал стихи. Один из них, посвященный Сталину, был напечатан даже в «Пионерской правде» и посему целый месяц украшал школьную стенгазету. И Сёма был уверен, что этот стих защитит его сегодня, в день 13 января 1953 года, что этот стих — безусловное доказательство его лояльности великой Родине и её Кормчему.

Но ладони были мокрыми от страха.

Класс начинал свой обычный день. Гремели крышки парт, хлопали двери, кто-то кричал, кто-то свистел... Через весь класс пролетел изжеванный портфель, потом

обратно — привычный предзвонковый гул, и только один раз Сёма поймал обращенный на него злобно-насмешливый взгляд.

Сёма тоже изображал из себя беснующегося семиклассника, но озноб не отпускал... Он видел, как пытался вжаться в парту крошечный Лёвочка Гинзбург, как белый-белый, неподвижно сидел несгибаемый и оттого ненавидимый шпаной Витя Перельман... Их было трое в этом классе.

Сёма сразу же ощутил, что этот утренний бедлам совсем не такой, как обычно — были в нем не присущие ему ранее истеричность, предвкушение, затаённая, с великим нетерпением ждущая своей минуты вырваться наружу злобная радость. И он вдруг с ужасом понял, в чем дело: первым уроком была история, которую вела Эсфирь Львовна, маленькая, черноволосая, еще молодая женщина с прекрасными глазами и перебитым носом. Ученики побаивались ее — Эсфирь была беспощадна в оценках, остроумна и не боялась даже Антонова, вечного второгодника, державшего в страхе весь класс...

Звонок на урок почему-то не прозвенел, а прохрипел. Класс мгновенно затих и горящим взглядом впился в дверь. Первой в ней появилась классная руководительница, учительница русского языка и литературы Лидия Николаевна, молодая, энергичная, ногастая женщина, общая любимица, прекрасно знавшая свою женскую власть над прыщавыми от бушующих соков подростками. За ней вошла Эсфирь Львовна...

И поплыл над классом низкий, волнующий голос Лидии Николаевны:

— Я уверена, что вы все слышали о разоблаченной банде врачей-вредителей. В этой банде есть лица еврейской национальности. Но это вовсе не значит, что остальные лица еврейской национальности в ответе за предателей. Союз национальностей нерушим, и никому не будет позволено посягнуть на него!

Национальность... национальность... национальность... Сёма и не знал, какое это змеиное, ядовитое слово...

— Всем ясно?!

— Всееее!

Победно помахивая задом, Лидия Николаевна вышла. Эсфирь Львовна, спокойно оглядев класс, вытащила из сумки свою маленькую указку, затем журнал, раскрыла его и, опустив глаза, произнесла:

— Вам было задано...

— А расскажите, пожалуйста, нам про убийц в белых халатах! — голос маленького патриота был вежлив, и в тоне сквозила искренняя жажда знаний.

— Итак, вам было задано...

По классу прошел недовольный ропот.

— Держи карман шире — расскажет она.

— А если я не успел прочитать газету?

— То-то моя прабабушка никак не выйдет из больницы...

Судя по взрыву хохота, ничего более остроумного 7А класс школы номер 123 Советского района города Москвы никогда не слышал. Какой там хохот — визжала, лаяла, давилась свора собак, наконец-то загнавшая своего зверя.

Сёма первый раз видел беспощадную на язык Эсфирь Львовну, фронтовичку, такой жалкой, беспомощной. Коротко всхлипнув, она швырнула в сумку журнал и указку и выбежала из класса.

И три еврейчика решили, что настал их черед. Может, так бы оно и случилось, но Лидия Николаевна, словно почуяв беду, быстрокрылым ангелом влетела в орущий класс.

— И так, — ворожил ее изумительный голос, — Чацкий и Молчалин, борец и приспособленец...

Школьный день покатился по заведенному порядку. Стучал указкой по доске угрюмый физик, орала географичка, учитель математики — поговаривали, что он еврей, но твёрдых доказательств тому не было — неожиданно устроил классу тяжеленую контрольную, потом немецкий... Ненарушаемость порядка, непонятное отсутствие интереса учителей к произошедшему несколько охладили пыл юных патриотов, и на переменах никто евреев не трогал. Но когда заканчивался последний урок, который вновь вела Лидия Николаевна, Сёма получил записку: «После уроков стыкнёмся. И не вздумай смотаться, сука!»

Сёма обмер. Ну, конечно, это был Стручок, маленький, плюгавый, подлейший малый, безнаказанно вытворявший всё, что рождалось его гнусной, изощренной фантазией. Безнаказанно, ибо находился под особым покровительством самого Антонова.

Это жаркое, жадное «сука» повергло Сёму в такой ужас, что он... заплакал, да, да, заплакал прямо на уроке, заплакал от страха, от усталости, от обиды, от жуткого напряжения этого проклятого дня... Заплакал, может быть, в глубине сердца уповая на снисхождение к нему Антонова, которого он не раз выручал во время диктантов и классных изложений. Сёма с надеждой глянул на него — увы, на каменной, сытой роже было лишь подобие усмешки.

И, как всегда, на помощь пришла любимая «училка» Лидия Николаевна:

— Семён, забирай вещи — и домой! Я вижу, ты заболел. И быстро, не мешай мне вести урок!

...О, великая, самая красивая на свете училка!..

Сёма был уже одной ногой в раздевалке, когда раздался звонок, и толпа в тысячи ног с грохотом революционных матросов бросилась вниз по лестнице. Он не видел, но знал, что первым мчался Стручок.

Маленькие негодяи, они почему-то всегда первые...

О, проклятые рукава! О, проклятые пуговицы! О, проклятый мешок, из которого не вылезают калоши! О, проклятая калоша, соскочившая с одного из ботинков, проклятая, старая калоша, которая так легко сваливается и почему-то с таким трудом надевается!

Стручок и еще четверо Антоновских холуев — самого «босса» не было — догнали его почти у самого дома. Из великой мужской гордости Сёма замедлил шаг.

— Бздишь стыкнуться?

Он не ответил, и тотчас последовал несильный, ленивый удар ноги по его заду.

Нельзя сказать, что Сёма был совсем уж законченным трусом. Нет, иногда он дрался; распахивавшись, мог проявить в драке даже некоторую доблесть. Но в этот день тихий еврейский мальчик, ещё не принятый в ряды комсомола, оказался совершенно беспомощным, ибо нес на себе великую, очевидную для всех и, в первую очередь, для самого себя вину.

В него уже давно вдавили раба.

Зареванный, обсопливленный, он плелся домой, сопровождаемый унижительными ударами. При этом Стручок что-то приговаривал, остальные смеялись, но когда Сёма свернул во двор, компания преследователей отстала. Стручок на прощание прокричал какую-то угрозу, и Сёма с ужасом, близким к обмороку, подумал, что завтра снова надо идти в школу.

Но в школу он попал только через месяц — судьба сжалилась над ним и наградила двусторонним воспалением легких. Участковый врач, молодая еврейка с всегда холодными, нежными ладонями, посмотрев в полные отчаяния, заплаканные мамыны глаза, перестала настаивать на больнице, и он остался дома. Несколько раз его

навещала Лидия Николаевна, — Сёма был любимым её учеником, — наполняла комнату «духами и туманами», посвящала в школьные события, в частности, рассказала, что директор прошелся по всем классам и сообщил, что каждый, кто проявит самоуправство, будет иметь дело лично с ним, — а вся школа знала, как крут директор, — так что всё хорошо и спокойно, и исчезала, оставляя Сёму в состоянии вдохновенного стихотворчества. Причем почти все стихи посвящались ей и ни одного — Сталину.

В школе на его возвращение почти никто не обратил внимания: Антонов ушел в ремесленное училище, Стручок, естественно, стал обычным стручком, а Эсфирь Львовна исчезла, и лишь много лет спустя Сёма узнал из её уст, — ничего в нижеследующем рассказе им не выдуманно! — что произошло с маленькой учительницей истории после того памятного начала ее несостоявшегося урока 13 января 1953 года...

2.

...Эсфирь Львовна добежала до учительской и остановилась перед закрытой дверью. Вытерла слезы, поправила прическу — она носила высокий пучок темно-каштановых, с черным отливом волос, заколотый огненной, янтарной булавкой, казавшейся почти булавой на ее маленькой, всегда вызывающе поднятой голове; потом привычно погладила впадину на носу — результат перелома после удара кулака следователя на допросе в 1939 году.

...Когда ей становилось плохо, она с мазохистским наслаждением вспоминала тот допрос и, главное, горячие, темно-синие глаза молодого лейтенанта, — ах, как хотел он её... как хотел!.. Из него просто пёрло бешеное мужское желание, и она не без удовольствия ощущала его, несмотря на страх. Ах, она была тогда такой хорошенькой!.. Сколько мужских глаз останавливалось на ней!..

А лейтенант вдруг заорал, вложив в крик обуревавшее его чувство:

— Дороховская подстилка!

И в ответ она весело плюнула следователю в лицо и попала прямо в его пухлые, чувственные губы.

На нее находило такое — тихая, интеллигентная еврейская девочка, она в высшие минуты своей жизни, не отдавая себе отчета, не рассуждая, становилась отчаянной, даже буйной.

«Отец, вылитый отец!» — причитала мать, находясь в перманентном страхе от поступков дочери.

...С каким упоением Эсфирь Львовна ходила на домашние семинары своего любимого профессора, блестящего историка Дорохова, хотя многие умные люди предупреждали, чем это чревато. Мало того, влюбилась в молодого профессора и, счастливая, носила на себе самые невероятные слухи об их отношениях. Ах, а ведь ничего на самом деле не было... Ничего!..

Лейтенант так опешил от плевка, что на мгновение застыл, потом тыльной стороной левой ладони вытер рот и лишь потом резким, тренированным ударом правой перебил ей нос. Она чуть не захлебнулась от хлынувшей крови, лейтенант растерялся, отчаянно нажимал кнопку на столе, наконец, прибежали двое солдат, потащили ее в санчасть, и на следующее утро она уже была дома. Больше ее не трогали, хотя профессор Дорохов был арестован, и с того дня никто его на воле не видел.

Спас её мертвый отец — герой Гражданской войны, погибший в 1921-м году под копытами лошадей отчаянной лесной банды, в засаду которой попал его чекистский отряд. Ей было тогда всего три года.

Будь отец жив, их, скорее всего, уничтожили бы обоих. Но мертвые тогда были в большой силе. Ей позволили окончить университет и взяли в 1941 году после многочисленных её просьб на фронт. Блестяще знавшая немецкий язык, свои четыре года войны она прослужила переводчицей сначала в штабе полка, была даже ранена в колено осколком фугаса, а после возвращения из госпиталя служила переводчицей уже в штабе дивизии.

Удар похотливого лейтенанта дорого обошелся Эсфирь Львовне. Это иных мужчин переломанные носы украшают, но уж никак не маленьких еврейских женщин. На нее уже смотрели совсем другим взглядом, и только на фронте поползновения пьяных офицеров напоминали ей, что она еще считается женщиной. А ведь нисколько не изменились ни ее ладная фигурка, ни ее прекрасные, зеленые, опасно глубокие, втягивающие в себя глаза...

И она осталась одна с мамой, незаметной актрисой Еврейского театра, в огромной комнате общей квартиры огромного дома в центре Москвы, и каждый день, кроме воскресенья, учила детей «истории», как в насмешку над ее любимой наукой, как надругательство над памятью её любимого учителя Дорохова, называлась лживая бредятина, выдуманная пролетарскими «специалистами» и учеными рабами. Нельзя сказать, что она не пыталась оживить уроки — пыталась, искала в глазах мальчишек искорки после осторожно рассказанных, известных немногим в те проклятые времена историй о российских царях, о великих русских людях. А мальчишки продавали ее. В первый раз Эсфирь Львовну вызвали на педсовет только пожуричь, во второй раз — уже кричали, а в третий раз неподдельная грусть, появившаяся в глазах коллег, ясно дала ей понять, что край пропасти — совсем рядом...

Иных же путей к сердцу учеников она и не искала, быстро сообразив, что некрасивость есть главный недостаток всякой учительницы. Получи она свою яму на носу по блатному делу, могла бы стать любимицей школы, но не лгать же, в самом деле; а рассказать этим Павликам Морозовым правду было не только опасно, но и противно.

И всё было бы серо и безнадежно в ее жизни, если бы не одна захватившая всё её существо, яростная, всё нарастающая ненависть — вы не поверите, к кому! — к Сталину!!

О, как это возвышало ее над другими! Будто она одна владела великой, никому не доступной тайной. Она ненавидела сознательно, могла бы перечислить по пунктам весь обвинительный акт тирану, и каждое его преступление было достойно смертной казни: и позорная гибель многих соратников отца, «признавшихся» во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, и до сего дня кровоточащие рана — уничтожение профессора Дорохова, и позорное, кровавое бегство огромной армии до Москвы, и убийство обожаемого Михоэlsa... Да был ли кто в этой несчастной стране, кого бы смертным холодом не коснулась волосатая рука этого страшного человека, может быть, безумца?

И вот сегодня начало еще одного кровавого пира...

Когда такое знакомое, такое волнующее чувство ненависти к Сталину поднялось в ней до самого сердца, она открыла дверь в кабинет директора. Там никого не было, и глубоко вздохнув, Эсфирь Львовна подняла глаза на портрет ненавистного вождя. И прокляла — в голос, почти безумная в этот миг, с потемневшими до черноты глазами... Ведьма, натуральная ведьма...

— Умри, сволочь!

...Сталин потянулся за первой утренней трубкой, и вдруг резкая, перекатившая от сердца к плечу и потом схватившая всю левую руку боль остановила его движение. Он застыл, взмокнув от страха, боясь крикнуть, боясь даже моргнуть. Боль скоро

ушла, но осталась слабость, пугающая, потная, не отпускавшая ни на мгновение слабость. И он со смертельной тоской подумал, что лучшие из врачей уже превращены в подвалах Лубянки в полутрупы...

...А по скромному портрету его быстрой волной прокатилась судорога. И она увидела это!

Эсфирь Львовну, Эстерку, охватило такое чувство радости, такое чувство победы, что она в голос запела и даже крутанулась на каблучках. О, она бы сейчас не только плюнула в губы лейтенанту, она бы задушила этого похотливого гадёныша!

И в это время в кабинет вошёл директор школы.

Степан Ильич, пожилой, мудрый учитель математики, доблестно прошедший войну, — его грудь украшала обширная, в два ряда орденская планка, — с самого утра был взвинчен сверх всякой меры. Мало было ошеломившего и испугавшего его сообщения о «врачах-вредителях», едва он переступил порог школы, на него набросилась уборщица с жалобой, что в мужском туалете говном на свежепобеленной стене начертано: «Бей жидов, спасай Россию!»

«Самое интересное, — промелькнуло в голове директора, — что этого энтузиаста, даже поймав, нельзя будет наказать, ибо патриоты по определению неподсудны. Виноват ли бедный мальчик, что у него под рукой не оказалось куска угля? Каков порыв! Какое чувство дня! Интересно, собственное ли это было говно? Его не только не наказать — наградить надо! Более того, вырезать этот кусок стены и послать в „музей подарков товарищу Сталину“. Это вам не казахский Левша, десять лет за немалую плату царापавший на хлебном зернышке поэму о Сталине. Это — экстаз! Вдохновение! Истинный подарок товарищу Сталину!»

...Вы думаете, что не было таких директоров школ в 1953 году?

А уборщица, это аполитичное существо, продолжала буйствовать:

— Не буду говно со стен соскребать! Я на это не нанималась!

Тогда директор, пожилой, мудрый учитель математики, схватил совок и мощно, вместе со слоем побелки, стер со стены туалета лозунг своего времени.

«Митрич завтра побелит, — успокоил он себя. — А вдруг эдак, да каждое утро? — похолодел он. — И везде — на полу, на стенах, на окнах, на спинах моих несчастных учителей-евреев?»

Он обожал их. «Они же прирожденные учителя. У них это в крови — от пророков, Христа, раввинов...»

Правдами и неправдами он немало набрал их в свою школу и не зря набрал — знамёна и грамоты не покидали ее, а отсюда и деньги на ремонт, на строительство спортивного зала, на покупку нового оборудования...

Тщательно вымыв руки, он вернулся в кабинет и увидел Эсфирь Львовну. Немедленно поняв, о чём пойдёт речь, растянулся в огромном кожаном кресле и молча начал приготовление к первой папиросе...

Эсфирь Львовна подошла к директорскому столу, ни слова не говоря, вытщила из стопки лист бумаги и трофейной авторучкой с золотым пером — бережно хранимым подарком начдива — начертала:

«Директору школы... Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с тем, что я еврейка.

Подпись...»

Директор прочитал и спокойно, не поднимая глаз на посетительницу, разорвал лист на мелкие кусочки, сложил их в огромную пепельницу и зажег спичку,

— Поверни ключ в двери! — приказал он Эсфирь Львовне. Та послушно исполнила требование старого конспиратора. Костер в пепельнице запылал, и директор

огромным каменным пальцем сгонял к центру пожарища непослушный, рвущийся на волю пепел.

— Ты сейчас никуда не устроишься.

— Уборщицей возьмут.

— Из тебя уборщица, как из меня гимнаст.

— Не беспокойтесь. Научусь. Войну прошла.

— Я заберу тебя из этого класса. Пойдешь к пятиклассникам на «древнюю».

— А в древней истории он тоже самый главный.

— Ты можешь чуть потише?

— Дайте мне написать заявление!

— Иди домой и успокойся. Или всё это пройдет, как дым, или вы все обречены. Не лезь в петлю раньше времени. Это истерика. Заболей, в конце концов.

— Степан Ильич, — она заговорила шепотом, — я не хочу больше учительствовать. Я вернусь в школу, когда его не станет. И это случится очень скоро! — последние слова она произнесла, склонившись к лицу директора. — Прощайте, самый хороший в мире директор!

И неожиданно для самой себя, перегнувшись через директорский стол, горячими ладошками обхватила его голову и поворачивая ее то в одну, то в другую сторону, поцеловала в обе щеки, а потом и в губы.

Стоявшая, она была ростом точно с сидящим Степаном Ильичом. Ах, было в нем что-то от Дорохова! Было...

Закончив таким эффектным манером сцену, Эсфирь Львовна направилась к двери, но вдруг обернулась и заявила:

— Степан Ильич, а заявление об увольнении я пришлю вам по почте! Не будем более портить столь роскошную пепельницу!

Быть дочерью актрисы, пусть и второстепенной, ко многому обязывало.

А директор долго еще чувствовал на своих губах вкус помады и долго, в великой тоске, возился с пепельницей и столом, очищая их от пепла.

3.

Ах, какое же солнце было в тот день — 13 января 1953 года! Что означала эта улыбка небес — преддверие великой весны или полное её равнодушие к происходящему?..
...В зашторенном, черном кабинете, в огромном черном кресле сидел смертельно напуганный недавней болью Сталин, так и не закуривший свою первую утреннюю трубку...

...А на захарканном, заблеванном, окровавленном, холодном бетонном полу тюремных камер корчились истерзанные старики профессора; в школах бесновались ученики-патриоты; во многих домах Москвы сновали по нужным квартирам сообразительные домоуправы, сообщая нетерпеливым хозяевам о скором высвобождении соседних еврейских квартир; писатель, имевший несчастье родиться евреем, писал разоблачительную, полную пафоса статью и плакал от презрения к самому себе...

...А солнце в такой треклятый день сияло себе в небесах, мириадами искр отражаясь в тогда еще белом московском снегу.

Как можно было соединить в себе и отчаянную безнадежность, и отчаянную красоту этого дня?

...«Евреи, изумитесь, исколотите меня, закидайте камнями, мне весело! Мне весело, ибо я предчувствую весну! Это такой день, который понять дано только мне! Но разве верят провидцам? А я хочу рассказать вам, евреи, что не воля убийцы породила этот день, а воля Истории. Да! Да! История обладает волей, всесильной волей, порожденной, может быть, самим Божьим замыслом! Так учил меня милый,

бесстрашный профессор Дорохов, вечная ему память! И я, сумасшедшая, маленькая, никому не известная еврейка, призвана по воле Истории совершить суд над палачом! Я переполнена ненавистью! Ничего не боюсь! Я такая счастливая в такой страшный день!.. Мне ясно, мне совершенно ясно, что Сталину не нужны врачи, виновные разве в том, что лечили его и его банду, — ему нужно уничтожить всех евреев империи! Вот на что замахнулся параноик! И вот что погубит его, как погубило Гитлера!»

Ей было ослепительно ясно, что это последняя судорога изувера.

Ей было ослепительно ясно, что она спасительница своего народа.

Ей было ослепительно ясно, что она сошла с ума, но почему-то от мысли этой становилось необыкновенно весело.

Улицу Горького она признавала только от Пушкинской площади с её любимым кинотеатром «Центральный» до площади Маяковского с её любимым Залом им. Чайковского. Этот привычный, всегда волнующий её маршрут она называла «прогулкой в себя». И когда от своего дома, расположенного на улице Чехова, она добиралась до памятника Пушкину, чтобы начать прогулку, то всегда останавливалась, здоровалась с поэтом, потом зажигала папиросу, делала первую глубокую затяжку, поправляла причёску и начинала шествие. Никакая толпа не мешала ей, наоборот, толкаясь, протискиваясь, она после одиночества школьных часов чувствовала себя вовлеченной в жизнь, равной другим и, самое главное, не врущей скучающим детям. А уж сегодняшняя прогулка была совершенно особенной, и угнетало её только то, что она не может поделиться своей великой тайной с многочисленными прохожими.

Она ожидала музыки, непременно Баха. Она ожидала еще людей, вовлеченных в круг, избранных Историей. О, она бы узнала их по глазам, по особенно счастливым улыбкам, по каким-нибудь тайным знакам, обращенным только к ней, как главному действующему лицу.

Потом стали приходиться мысли попроще... Ладно, с деньгами на первое время поможет дядя Зяма... О, Господи, сегодня же день его рождения! Надо купить подарок!.. На месяц-другой уеду в Алма-Ату, к тете Фане. Два месяца, надеюсь, хватит, чтобы подохнуть этой сволочи? Значит, всё в порядке! Всё отлично!

И когда вполне различимы стали черты площади имени Маяковского, она подпрыгнула от восторга. Ее зимние, стертые ботиночки даже с некоторым изяществом оторвались от земли, краткое мгновение пробыли в воздухе, а вот приземлились крайне неудачно: правый резко скользнул по припорошенному снежком льду вперед, левый же поехал назад и заставил Эсфирь Львовну всем телом упасть на тотчас хрустнувшее, еще с войны испорченное осколком левое колено.

И от боли, яростно пронзившей её, потеряла сознание.

Толпа собралась мгновенно, и так как нелепо распластанное на снегу тело не подавало признаков жизни, страшно разволновалась. Посыпались советы, примчался, просверлив воздух оглушительной трелью свистка, милиционер, быстро всё понял и убежал звонить в «Скорую помощь».

Очнувшись, она стала безучастно наблюдать за суетой. Ноющая боль в колене подкатывала к сердцу, шерстяной чулок промок, юбка задралась, причёска рассыралась, а на кокетливую котиковую шапочку — подарок дяди Зямы — успели основательно наступить, превратив её в мертвое тельце какого-то маленького несчастного животного...

Кто-то предложил перенести ее в подъезд дома. Двое мужчин подошли, наклонились, обсуждая, как удобнее взяться за дело, но она, собравшись с силами, так рывкнула на них, что бедняги в смущении отскочили в сторону.

— Вы же простудитесь!

— Оставьте меня в покое! — глаза её в бешенстве сверкнули.

— Да она сумасшедшая!

— Совершенно верно! Сошла с ума от страха, что лечить её будут её же соплеменники.

— Это же историчка из сто двадцать третьей! Эсфирь!

Голос юного прогульщика был так звонок и искренен, что толпа сразу ему поверила и стала съезживаться от естественного страха оказать в этот опасный день слишком большое внимание еврейке, к тому же странной, но мало похожей на сумасшедшую. Наконец раздался вой машины «Скорой помощи». Из белого «ЗИС-101» выскочили два крепких санитаря, ловко уложили Эсфирь Львовну со всеми разбросанными деталями ее одежды и содержимым раскрытой сумочки на грязно-серые носилки, понесли, четко, как по команде, швырнули свой груз в чрево машины, затем и сами нырнули за ним, хлопнули дверьми, и «Скорая», обдав толпу вонючим дымом и оглушив леденящей душу сиреной, умчалась в больницу,

Ее привезли и покатали на носилках с визжащими колесиками по бесконечным коридорам, тоннелям, потом подняли на лифте и снова покатали по трассе людского несчастья, мимо застывших белых патлатых старух, мимо людей, скачущих на костылях, ковыляющих с палками, сидящих на засаленных диванах, читающих или жадно жующих лакомства, доставленные им из дома.

В воспаленном мозгу маленькой учительницы серые эти лица превратились в дикие видения, точь-в-точь как в американском альбоме Босха, подарке дядизямино друга, художника, уничтоженного за карикатурный, карандашный набросок лица Сталина... Как в кривых зеркалах, то вытягиваясь, то сжимаясь, то наклоняясь над ней, то отшатываясь от нее в ужасе, прыгали, кривлялись лица, то все вдруг похожие на усатого упыря Сталина, то на измученного пытками профессора Дорохова... И не было конца этому коридору чистилища.

А тупая пульсирующая боль докатывала до плеча, клещами сжимала затылок, потом отпускала на короткое мгновение, чтобы снова взяться за палаческое свое дело.

Казавшийся бесконечным коридор, наконец, кончился, ее вкатили в маленькую комнатку и ловко скинули с носилок на стол, покрытый морковного цвета клеенкой, прохладной и влажной. Укол вернул её к сознанию, боли почти не стало, и она, совершенно счастливая от этого, лучезарно улыбнулась склонившейся над ней очкастой физиономии, украшенной длинным, унылым, совершенно еврейским носом. Увидев, что пациентка очнулась, он подмигнул ей, вытер салфеткой её горячий мокрый лоб, нежно убрал с него слипшиеся волосы и спросил:

— Ну, а вы оперироваться у меня не испугаетесь?

— Только у вас, доктор, только у вас, — горячо зашептала она. — Я прошу вас, помогите мне... И я очень надеюсь, что эта усатая сволочь не успеет добраться до нас.

— О чём это вы? О, Господи!.. Милая моя, — взмолился он, — тише, пожалуйста! — он тыльной стороной ладони погладил её щеку. — Не волнуйтесь, я вылечу вас.

И тотчас понизил голос до шёпота:

— Только молчите. Молчите — и всё. Травматическая афазия, понятно? Это — как полная идиотка. Иначе, дорогая, вас заберут отсюда туда, где только один метод лечения от всех болезней. Договорились?

Эсфирь Львовна в ответ даже попыталась кокетливо улыбнуться ему. И что-то промелькнуло в глазах хирурга. Честное слово, что-то промелькнуло в его печальных, удивленных глазах, причудливо менявших свой цвет за стеклами роговых очков...

...Он чинил изуродованное колено Эсфирь Львовны с таким восторгом, с таким вдохновением, будто ваял его. Кажется, всё уже видавшая старшая хирургическая сестра после операции поцеловала ему руку. И это в день 13 января 1953 года!

А он, опустошенный, усталый — операция продолжалась три часа! — уселся в свое кресло и заявил:

— А действительно, Анна Сергеевна, я был сейчас почти, как Рихтер!

И застыл, снова и снова вспоминая это кошмарное сегодняшнее утро...

...Жена, пробежав глазами газету, вздохнула и сказала:

— Ну, знаешь, ваши перешли уже все границы.

И это после двадцати лет супружеской жизни! И, уже убегая на работу, добавила, без сочувствия, так, бросила:

— Представляю, каково тебе сегодня будет в больнице!

Плохо было ему в больнице, очень плохо... Истерично отказалась оперироваться у него, несмотря на долгие увещевания главврача, пожилая, толстая, с переломанной ключицей антисемитка. Вторая пациентка, интеллигентная старушка со сломанной рукой, увидев его, широко улыбнулась и сострила:

— Надеюсь, мне нечего опасаться, я же не член Политбюро!

После остроумной старушки пришел главврач и предложил ему отправиться домой. Он отказался:

— Ты думаешь, завтра будет лучше, чем сегодня?

А потом — как внимателен к еврейским бедам наш Бог! — привезли эту бесстрашную, чокнутую маленькую еврейку...

После операции Эсфирь Львовна была помещена в четырехместную палату, в коей и очнулась на сыроватой постели, с вздернутой посредством гирь и блоков, чуть не до пупа замурованной в еще теплый гипс, однообразно ноющей, горячей ногой.

Вскоре хирург навестил ее, прослушал пульс на руке — пальцы его были так прохладны и так нежны, что она чуть не застонала от наслаждения, — и пробурчал:

— Дней пять пробудете здесь и месяца два дома. Кстати, вы не помните имени-отчества костоправа, лечившего вас после ранения? Я хотел бы знать, какое медицинское учреждение дали ему окончить?

Она благодарно улыбнулась. Хлопнула ему своими роскошными ресницами и прошептала:

— Я прошу вас позвонить моей маме. Телефон...

Он записал.

— Я позвоню...

— Доктор, а вы можете починить мне нос?

— Увы, это не мой профиль. Но он вас совершенно не портит. Совершенно!

И подмигнул ей...

Но едва он ушел, маленькая учительница залилась горячими слезами, проклиная этот день, проклиная свои стертые ботинки и ленивых московских дворников.

Вошла старшая сестра, приказала готовиться к обеду и вдруг с весёлой угрозой добавила:

— И чтоб вечером без номеров мне! Иначе всех в коридор выселю!

Как только сестра вышла, лежащая напротив Эсфирь Львовны пожилая женщина, рука и плечо которой были связаны сложной металлической конструкцией, хрипло спросила:

— Эй, новенькая, пьешь?

Эсфирь Львовна вопросу изумилась, но радостно закивала в ответ.

— Так вот, после ужина мы всей палатой встречаем старый Новый год. Приглашаем. Но если продашь, подготовим тебе еще одну ножку под гипс. Ясно?

— А домашненького пожевать тебе принесут? — включилась в беседу молоденькая соседка справа, без видимых признаков какой-либо травмы. И сама себе уверенно ответила:

— Принесут! У вас семьи крепкие, пропойц мало. Да ты не тушуйся, если что надо, намекни, я-то уже на выходе. Помочь могу, без этого здесь не обойтись, рублей и трешек на сестер не оберешься. Поссать хочешь?

Страшно покраснев, Эсфирь Львовна виновато кивнула.

Девушка откинула одеяло, винтом крутанулась на постели, схватила костыли — вместо левой ноги, чуть ниже колена, болтался розовый обрубок — и ловко скакнула к сжавшейся от ужаса учительнице.

После окончания мучительной процедуры она так благодарно, такими блестящими от слез глазами посмотрела на свою спасительницу, что та растрогалась:

— Ну и глазищи у тебя — как нецелованные!

И с «уткой» поскакала к раковине.

Нахлебницей предстоящего пиршества Эсфирь Львовна не стала, ибо сразу же после обеда в палату стремительно ворвалась мама, страшно взволнованная, с тюком еды, с мокрым от слез носом, с совершенно разрушенной прической.

Тысяча вопросов, ни один из которых не нуждался в ответе, обрушились на улыбающуюся дочь. Одновременно с этим, из тюка, устроенного из нескольких слоев шерстяных платков, выплывали: бульон с клецками, куриные ножки, нежно поджаренные пончики с изюмом и пирожки с капустой.

— Ты думаешь, это я успела сделать для тебя? Как бы не так! Ты забыла, что сегодня день рождения Зямы? Эстерка, ты забыла?

И Эстерка расплакалась. Это так несправедливо торчать в больничной палате вместо того, чтобы сидеть в чудной дядизяминой квартире, пить вишневую наливку, есть фаршированную рыбу, хихикать от дядизяминых шуток и анекдотов, обмениваться печальными, понимающими взглядами и репликами с немногочисленными гостями, членами так любимой ею, на четверть уничтоженной Сталиным, на четверть войной, еврейской семьи, крошечного оазиса любви и доверия...

— Доченька, почему ты молчишь?

И тогда, пригнув голову матери, почти прижавшись горячим ртом к ее виску, она зашептала на идише страстно и отчетливо:

— Я знаю, конец его близок!

Со стороны казалось, что дочь застыла в объятиях матери. А несчастная мама, трясась от ужаса, тем временем шептала:

— Перестань, умоляю тебя! Я чуть не умерла в том, тридцать девятом, когда забрали тебя, потом в сорок восьмом, когда убили Соломона... Я подобного больше не выдержу... Я умоляю тебя... Сколько можно терять?.. Зачем папа не взял меня с собой?.. Я... хочешь, я встану на колени? Может, это от боли?.. Солнышко мое, единственная моя... Где болит тебе?

— Хватит, мамочка, хватит... Я больше не буду...

Эстерка гладила ее пушистые волосы, целовала в висок, и вспомнился ей тот жуткий телефонный звонок, пять лет тому назад, вечером 14 января 1948 года...

...Голос, как потом рассказала мама, нарочито хриплый, явно, чтобы не быть узнанным, без «здравствуйте», без всякого вступления, вымолвил:

— Михоэлса сбила машина... Сбила машина...

Мама, совсем по-старушечьи стала переключать телефонную трубку от одного уха к другому, лихорадочно убирать якобы мешающие ей волосы и, вдруг побледнев так, будто вышла из нее вся кровь, спросила, тоже почему-то хрипло:

— И где он лежит?

В трубке, то ли разозлившись на глупость вопроса, то ли таково было настроение позвонившего, прозвучало кратко и зло:

— В гробу, Роза, в гробу!

— Что?! — завопила мама. — Что вы сказали?!

Но из трубки были слышны только равнодушные гудки отбоя... И тогда мама завывала, закричала, безумными глазами глядя на дочь и не видя ее:

— Соломончик мертв! Соломончика нет! Соломончика задавили! Соломончика убили!!!

Какая это была истерика!

Эсфирь Львовна страшно испугалась. Ничто не помогало. Мать отбрасывала в сторону и воду, и валерьянку, царапалась, пыталась схватить кухонный нож... И лишь когда примчался дядя Зяма и отхлестал сестру по щекам, и пригрозил, что вызовет «скорую помощь», Роза успокоилась...

Великого артиста мама знала с 1920 года, они оба начинали в студии Грановского. Начинали... Это она начинала, а он родился гением, и Роза, с трудом перебираясь от одной незначительной роли к другой, уже через год поняла, что ее истинное театральное счастье — хотя бы мгновение просуществовать на сцене с этим человеком, переброситься с ним репликой, замирать в восторге от его импровизаций на репетициях. Она была влюблена в него, она была переполнена им... Это была удивительная любовь, где место страсти занял восторг, а место ревности — поклонение... Впрочем, в восторженном сердце актрисы, увы, лишенной Божьего дара, всё могло и перепутаться... А муж? Ее храбрый коммунист с чистыми руками и горячим сердцем вечно был в таинственных отлучках.

— Где Лев? — спрашивали ее.

— Раскулачивает кого-нибудь, — спокойно отвечала Роза, но однажды добавила:

— Убивает. Такая у него мужская профессия.

Где только могла, она оставляла крошечную Эстерку, чтобы и дня не пропустить в студии. А потом стала брать ее с собой. Актеры обожали пухлую, зеленоглазую, избалованную шалунью. Она с радостью исполняла их маленькие поручения и даже несколько раз играла в спектаклях...

После гибели мужа к Розе, как говорили, пришла одухотворенность, и несколько сыгранных ею ролей, уже в ГОСЕТе, еврейском театре, возглавляемом Михоэлсом, были благосклонно приняты и публикой, и прессой... Но дальше этого не пошло. Да черт с ним! Не всем же дано быть Ермоловой. Главное — он! Главное — его успехи! После премьеры «Короля Лира» она не могла спать, всю ночь металась, смеялась, плакала... Потом села на маленькую табуретку около постели дочери и, думая, что та спит, зашептала:

— Я самая счастливая женщина на свете! Я не только видела, как он сыграл Лира, я видела, я знаю, как он шел к Лиру. Страшно сказать, но Соломон поднялся выше Шекспира! У Шекспира Лир умирает, а у Соломона — рождается! Я думала, что не досмотрю спектакль, что умру от разрыва сердца... Боже, как он сказал:

Что это, слёзы на твоих щеках?

Дай я потрогаю. Да, это слёзы.

Не плачь! Дай яду мне. Я отравлюсь.

Я знаю, ты меня не любишь...

Ой-ёй-ёй... Я не знаю, кто поселился в сердце Соломончика — Бог или Сатана... Мне просто страшно! Я никогда не понимала, почему он на сцене в два раза выше, чем в жизни. А жесты... Нет, какой-то король обязательно переспал с его прапрабабушкой, прости меня, Боженька, за такие речи! Ну, действительно, как можно знать королевские жесты, никогда не видя королей? Что, в его Двинск когда-нибудь

заезжал король? Но если бы какой-нибудь король увидел его игру, то уже на следующий день повторил бы жесты Соломончика, и все бы думали: «Ах, какие прекрасные новые жесты у нашего короля!» Мне страшно, какой он гений... Да, Эстерка, жизнь моя, ты так плакала... Ты так поняла! Знаешь, что я скажу тебе? Такого артиста не было еще на свете и больше никогда не будет! А Зускин! Зускин! Какой дурак назвал его «тенью Михоэлса»! Я хочу знать, кого было бы видно в такой тени, кроме Венички Зускина! Ах, Эстерка, солнышко мое...

И стала напевать что-то, и слёзы, тогда еще счастливые слёзы, текли по щекам матери.

Это было так прекрасно, что Эстерка боялась даже дышать, только б не разрушить этого мгновения, только б не спугнуть изумительно сыгранный монолог, первый раз сотворенный в жизни её матери воедино слившимися сердцем, воображением и актерским мастерством...

И еще вспомнилось, как в том проклятом тридцать девятом, когда пришла она в театр, Соломон Михайлович подошел к ней, погладил по волосам, нежно провел указательным пальцем по её изуродованному носу и, озорно подмигнув, прошептал: — Теперь все будут думать, что я твой папа, а? Такая схожесть носов — уму непостижимо!

После войны — Эсфирь Львовна вернулась домой только в августе сорок пятого, работала в комендатуре Берлина, — её, еще в форме, звенящую медалями, не отдышавшуюся от дороги, восторгов, встреч, совершенно сумасшедшая от счастья мать потащила в театр на премьеру «Фрейлахс». Ах, как ее встретили! Зацеловали, затискали! Какие говорили слова! А Зускин, изумительно, одним только жестом изобразив Гитлера, комично бросился бежать от нее, причитая:

— Спасите! Эта женщина прибьет меня! Ой, куда мне, такой сволочи, деваться от нее!

Потом был «Фрейлахс», и слово «спектакль» мало подходило к тому, что вытворяли на сцене пьяные от победы над Гитлером актеры. Всё, что угодно, но не спектакль... Танец Победы... Гимн солнцу... Крик надежды...

Мама Роза отплясывала на сцене, как молодая, отплясывала для своей доченьки, своей Эстерки, для всего еврейского народа, для великого Соломона Михоэлса...

А через два с половиной года раздался тот телефонный звонок.

И всё стало падать, разбиваться, превращаться в осколки, исчезать...

В декабре прямо из больницы забрали больного Зускина.

— О, это такой шпион! — шептала пересохшими губами ставшая старухой Роза. — Такой шпион, что его надо было брать только из постели, пока он не успел вытащить автомат и всех их перестрелять... Веня... Он же сразу умрет... Мы прокляты... Мы забыли Бога... Соломончика убили, Веню убьют... Обязательно убьют! Если убивают солнце, тень может остаться в живых?

Один Бог знает, почему она не сошла с ума...

... — Всё! Всё!

И Роза, отстранив от себя дочь, вскочила, схватила освобожденную от платков мисочку с пирожками и помчалась оделять ими неподвижно лежащих женщин. Вернулась к дочери и громко заявила:

— Не волнуйся, у тебя всё будет в порядке. Твой доктор очень хороший врач!

— Естественно, к своим-то они все хороши!

Реплику подала еще не знакомая Эсфирь Львовне женщина с огромным гипсовым воротником, охватившим левую ключицу и шею до подбородка.

Мать тотчас сжалась, почернела, стала нелепой, суетливой, и лишь одно чувство наполнило ее всю без остатка — страх, отчаянный страх за доченьку. Ах, разреши

ей, она бы осталась под этой кроватью, жила бы себе, как маленькая смиренная собачонка. Но не дай Бог кому-нибудь дотронуться до ее сокровища! Не дай Бог! О, сволочи, вы не знаете, что это такое еврейская мама!

Неловкую тишину разрубил зычный голос заглянувшей в палату сестры:

— Мамаша, закругляйтесь, пожалуйста!

Мать склонилась к дочери. Четыре глаза заглянули в самую глубину друг друга. Страх, любовь, отчаяние и, конечно же, проклятие палачу образовали такой мощный, такой направленный поток никем еще не изведанной энергии, что не подвластные никакому пространству волны её достигли-таки трона Всевышнего. И Всевышний, удовлетворенно хмыкнув, прошептал что-то нужное, и в Сталина снова, но уже куда с большим остервенением, вонзилась страшная утренняя боль... Поскребышев подскочил к нему, дрожащими пальцами расстегнул верхние пуговицы кителя, помог добраться до дивана и бросился вызывать врачей.

И мать медленно поплелась к выходу...

— Ах, доченька, чуть не забыла — дядя Зяма завтра навестит тебя...

— Девочки, — баском произнесла пожилая, со сложной конструкцией на плече, женщина, — если мы будем сучиться, выяснять, кто какой нации, то житья у нас не будет. А ты, интеллигентная, вчера еще Самсонычу руку целовала, а сегодня в землю вкопать готова. Падлюка, забыла, как он шею твою по косточкам собрал!

— Я не говорю конкретно об упоминаемом вами хирурге. Я говорю вообще о сложившейся в стране напряженной обстановке.

— Обстановка — это на фронте! А в миру жить надо по сердцу, ясно?

— Прекратите! — взмолилась безногая. И добавила:

— А я б легла под Самсоныча, как ни под кого! Ну чем еще могу я отблагодарить его, спасителя своего?

Женщины еще немного побазарили, и чуткое ухо Эсфирь Львовны с удовлетворением отметило, что антисемитка с собранной по косточкам шеей явно снизила тональность, а потом и совсем замолчала, сраженная последней фразой пожилой:

— Тебе, я слышала, еще одна операция нужна? Вот и откажись от Самсоныча! Патриотка — так до конца! Останься кривой! Помнишь, главврач говорил, что, кроме Самсоныча, тебя никто не поправит? Зато всю жизнь будешь гордиться, что от жидовского врача отказалась!

Наступила блаженная тишина. Сморенные обедом и спором, женщины заснули. И только маленькая учительница истории, страдая от тягучей неотступной боли в колене, от невозможности погладить его, от невыполнимого и оттого до сумасшествия навязчивого желания повернуться на бок, никак не могла забыться даже плохоньким, даже самым коротким сном. Но какие-то мгновенные, бредовые видения не отпускали. То она застывала в страстном объятии хирурга, то стреляла в Сталина, то ползала на коленях перед всем классом, умоляя простить её, неизвестно за что... И без конца поскальзывалась на льду... вскакивала, крича от ужаса, и снова поскальзывалась... а мама стояла в стороне, тянула к ней руки, кричала, но ничем не могла помочь... Вдруг она увидела склоненный над ней огромный гипсовый воротник, увенчанный страдающим, бледным лицом. Потом появилась рука с влажной салфеткой и вытерла ею пылающий мокрый лоб Эсфирь Львовны.

К счастью, глаза маленькой учительницы умели благодарить куда красноречивей слов.

— Какими же очами наградил евреев Господь Бог! Надеюсь, вы не обиделись на меня? Я сама себе иногда бываю противна. Самое смешное, что единственный

человек, которого я люблю и за которого готова отдать жизнь, — еврей. Господи, но кому я нужна теперь? Хотите яблоко? Оно из Грузии, целебное...

Эсфирь Львовна жестом показала, что отказывается, но очень, очень признательна. Женщина вздохнула и осторожно, держась за спинки кроватей, отправилась на свое место.

Вдруг всё стало меняться к лучшему. Пришла сестра и сделала обезболивающий укол. Пришла нянечка и принесла дополнительную подушку — стало много легче лежать. Заглянул дежурный хирург — молодой веселый парень, раздал каждой по шутке, а Эсфирь Львовне доверительно сообщил, что рентгеновские снимки ее колена до операции и после смотрел сам, — он восторженно закатил глаза, — Вишневский!

— Ваше колено станет гордостью отечественной медицины! Никому не давайте гладить его — оно принадлежит стране!

Эсфирь Львовна наградила балагура сияющей улыбкой. Ах, черт возьми, даже в такие минуты она не забывала о своем переломанном носе, убежденная, что он превращает улыбку в гримасу. Она могла видеть себя только в зеркале и, несмотря на свои тридцать пять, мало верила, что существуют люди, добрее зеркал. Потом, сразу же после коллективного отказа от унылого ужина и прощального, уже безнадёжного увещевания старшей сестры, началось действие совершенно фантастическое — подготовка к празднованию старого Нового года.

Все, кроме Эсфирь Львовны, встали со своих постелей и, охая и матерясь, показывая чудеса владения своими искалеченными телами, в считанные минуты превратили большую центральную тумбочку в праздничный стол, на котором тонкие ломтики нежнейшей розовой ветчины соседствовали с подёрнутым слезой сыром; маленькие огурчики особого домашнего посола — с домашнего посола капустой, пересыпанной вызывающе красной клюквой; темная, по-настоящему копченая колбаса — с трясущимся от свежести студнем и, конечно же, уже названные, принесённые мамой куриные ножки, нежно поджаренные пончики с изюмом и пирожки с капустой. И лишь надменные мандарины, наполнившие палату ароматом, как тогда говорили, «солнечной Грузии», презрительно посматривали на грубую жратву, всем своим спелым, налитым желтокрасным видом подчеркивая очевидную разницу между плебейским статусом «закусона» и аристократическим статусом «десерта».

Потом — Эсфирь Львовна чуть не вскрикнула — из-под угловой кровати костылем была вытащена намертво заткнутая резиновой пробкой, на четверть наполненная сияющей, прозрачной, подвижной жидкостью, обычная больничная «утка», поднятая затем, вытертая от пыли и поставленная в центр стола с такой нежностью, что не осталось никаких сомнений в высочайшем назначении этого сосуда.

— Не бойсь, — проворковала пожилая, — мыто-перемыто. Да и что в водке не сдохнет, кроме печалей наших...

Общими усилиями устроили маленькой учительнице при помощи подушек положение почти сидячее, разлили водку, разнесли закуску, притихли...

— Девочки, за выздоровление, за возвращение к бабским делам нашим... С Богом... да с Новым годом!

И в великой тишине забулькала водка — великая целительница российских бед, таких страшных, бесконечных, что и сама целительница давным-давно превратилась в ужасную, уже ничем не излечимую беду.

О, Эсфирь Львовна умела пить! За четыре фронтовых года переводчица в штабе полка, а потом и дивизии, вполне освоила не только водку, но и неразбавленный спирт. Более того, младший лейтенант Вольпина, выпив, могла так матюгнуться, так послать распоясавшегося ухажера, так сочно рассказать байку, что и матерые

боевые офицеры уважительно, хотя и не без иронии, называли ее меж собой «огненной Фирочкой».

Женщины говорили, говорили, жаловались, плакали, а после запели.

И «Синий платочек» совершенно окутал ее сознание... Она пыталась подпевать, но слова спутались, мысли растеклись.

И она провалилась в глубокий пьяный сон...

4.

Через пять дней, как и сказал хирург, её выписали из больницы...

— Вот и вся история этого дня — самого великого дня моей жизни! А потом валялась дома, прыгала на костылях и ездила раз в две недели на рентген в больницу...

Она счастливо улыбнулась:

— А первого марта я поняла, что победила. В десять утра вдруг прервали передачу и сообщили, что у «дорогого товарища Сталина» появилось дыхание Чейн–Стокса. О, это такое дыхание, когда уже и не дышат почти! И полилась дивная, печальная музыка — Бах, Бетховен, Шопен... О, какая это великая музыка! Я не жила в эти дни, я ждала... Каждый день объявляли о состоянии его здоровья. Каждый день Левитан деловито сообщал, что великая сволочь еще жив. Конца не было моему нетерпению! Пятого марта я поехала в больницу на очередной рентген и в суете не слышала утреннего радио... И вот, лежу после рентгена на топчане, дверь открывается, входит мой хирург, на ходу рассматривая снимки, и, как бы невзначай, говорит:

— Милая, ваш пациент благополучно отдал Богу душу... А у вас всё отлично!

И я полетела... полетела... И увидела, как он мучился, как сдох... *Как последние три дня своей проклятой жизни он, брошенный по чьему-то повелению не только врачами, но и обслугой, валялся один, в собственном дерьме, задыхаясь от смертного страха, ненависти, бессилия...*

... — Я очнулась от прикосновения его пальцев. Нежно, как только умеют хирурги, он вытирал мои слезы.

И она замолчала...

— Простите, — решил Сёма на мучивший его вопрос, — а с хирургом вы...

— Да, я соблазнила его... Еще будучи в гипсе... Встречались у меня дома, как воры... Он приносил цветы, вино и любимый мамин торт «Киевский»... Мы выпивали, болтали, и мама вдруг вспоминала о неотложных делах и убегала... Она давно умерла... И мой хирург умер... Всего через два года после смерти Сталина... Инфаркт... На всё Господь назначил свою цену... Ах, какой это был печальный человек! Какой гениальный хирург! И, представляешь, любил меня... с таким-то вот носом! Дочь у меня от него...

...Слёзы текли и текли по ее щекам, и она даже не пыталась вытереть их. Видно, сладкими были эти слёзы великой разделенной любви...

А знаете, как Сёма встретился с Эсфирь Львовной?

Ехал он себе в автобусе в 1978 году, будучи в глубоком «отказе», ехал себе и ехал, и вдруг вошла на остановке женщина, маленькая, седая, с перебитым носом и такими глазами, глазищами, что он тотчас вспомнил. Всё-таки два года учился у нее. Автобус был полупустой, и, преодолев смущение, Сёма подсел к Эсфирь Львовне.

— Простите, вы не преподавали историю в сто двадцать третьей школе в тысяча...

— Так ты учился тогда в том классе? Ты меня прости, если я не буду притворяться, что узнаю тебя?

— Вы не вернулись в нашу школу...

— Я вообще перестала преподавать. Библиотекаршей стала.

Тон ее был довольно сух. Ну, хорошо, подсел, а дальше что? О чем, собственно, говорить? Пауза затягивалась и грозила перейти в медленную казнь. И вдруг выскочило из Сёмы:

— А я вот уже семь лет в «отказе»... Не пускают меня в Израиль...

Так попасть в точку ему не удавалось еще ни разу в жизни! Эсфирь Львовна обернулась, засияла, всплеснула руками:

— А мы через три дня уезжаем! Получили разрешение без всяких осложнений!

— И куда едете?

В те годы многие катили по маршруту Москва — Рим — Нью Йорк.

— Как это «куда»? — глаза ее стали много больше лица. — В Израиль! Мой зять — ужасный сионист.

Она вздохнула:

— Но мне-то что там делать? Разве в Израиле оценят, что я уничтожила Сталина?

И расхохоталась, посмотрев на Сёмину физиономию, сильно перекошенную её вопросом.

— Вот что, господин «отказник», если есть у тебя время, айда к нам, и я попотчую тебя чаем с подробностями. А может, и передать нужно туда что-нибудь сионистское, тайное, судьбоносное?

Она почти касалась губами его уха.

— Нам можно доверить всё!

Ну и глаза были у этой женщины!

Они сидели в почти пустой квартире — главные вещи уже уехали на таможню — и пили чай. И она рассказывала, рассказывала...

— Ты действительно не считаешь меня сумасшедшей от того, что я так верую в мою победу над Сталиным?

— Напротив, надо быть сумасшедшей, чтобы НЕ верить в это!

Ответ Сёмы ей страшно понравился.

И очень скоро к ним ворвалась компания, состоящая из двух сорванцов, бородатого сиониста и молодой женщины, ах, какой, братцы, женщины! Награжденной Богом всем лучшим, что было в Эсфирь Львовне и её печальном хирурге...

И, конечно же, сочинилось у Сёмы немедленно после прощания со счастливыми:

Не суд тебя отыщет строгий,

Навеки проклятый упырь,

Тебя казнит веленьем Бога

Прекрасноокая Эсфирь...

Марк Львовский — писатель, хорошо известный в московских сионистских кругах «отказников» 1970-1980-х годов. Благодаря наблюдательности, литературным способностям, чувству юмора и неиссякаемому оптимизму он стал своеобразным летописцем того трудного, но во многом великого времени. Прорвав советский «железный занавес», Марк оказался в Израиле, где пришлось встретиться с совсем другими проблемами — в основном экономическими. И они были успешно преодолены... Жизнь удалась? Ответ — в книге Марка Львовского «Рассказы. Воспоминания. Очерки». Книга вышла в свет в тель-авивском «Издательском доме Хелен Лимоновой».